



В старину ставили храмы на полях сражений в память о героях и мучениках, отдавших за Родину жизнь. На Куликовом, на Бородинском, на Прохоровском белеют воинские русские церкви. Эта книга — храм, поставленный во славу русским войскам, прошедшим Афганский поход. Александр Проханов писал страницы и главы, как пишут фрески, где вместо святых и ангелов — офицеры и солдаты России, а вместо коней и нимбов — «бэтэры», и танки, и кровавое зарево горящих Кабула и Кандагара.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

СЕДОЙ СОЛДАТ



ЭКСМО

Александр Проханов
Охотник за караванами

«ЭКСМО»

Проханов А. А.

Охотник за караванами / А. А. Проханов — «Эксмо»,

© Проханов А. А.

© Эксмо

Александр Андреевич Проханов

Охотник за караванами

Трупы вертолетчиков, завернутые в фольгу, лежали на носилках, на пыльной серой земле. Фольга блестела, отражала тусклое солнце. Оковалков в строю щурил глаза на длинные серебряные упаковки, в которых покоились обугленные тела экипажа, сгоревшего день назад над ущельем. Замкомбрига, тощий, костистый, с черным цыганским лицом, на котором бегали красноватые белки, отрывисто выталкивал слова в душный горячий воздух. Оковалков слушал поминальную речь замкомбрига, чувствовал запах одеколона, исходящий от выбритого румяного старлея, и сладковатый душок формалина, долетавший от свертков фольги. Его глаза слезились от белого блеска, но он не отводил их от трех белых металлических кулей, похожих на огромные елочные игрушки.

– Еще трех наших товарищей мы провожаем в последний полет, в Союз!.. Они храбро сражались... Мы им жизнью обязаны, когда они доставляли разведгруппы на досмотр караванов в самые распроклятые места или подбирали нас под огнем на самых гиблых площадках!.. Теперь наши сердца сжаты от горя и ненависти!.. Мы будем мстить за их смерть, отплатим страшной ценой!..

Оковалков смотрел на носилки, пытаясь угадать, где, обернутый в мятую фольгу, лежит Маковой, командир сгоревшей «вертушки». Хотел вызвать жалость в душе, удивлялся немоте, тупому равнодушию. Душа, привыкшая к смертям, молчала.

Он вспомнил, как полгода назад в батальон приезжали артисты – фокусник, жонглер и певица. Выступали ночью под открытым небом. Бэтээры светили прожекторами, жонглер крутил разноцветные тарелки и кольца, размалеванный фокусник накрывал платком клетку с попугаем, а певичка в полупрозрачном платье волновала солдат голыми локтями, открытой шеей, робким, жалобно-красивым голосом. После концерта командир проводил артистов в отведенные им комнаты модуля, выставил у дверей певицы автоматчика на случай назойливых ухажеров.

Маковой, маленький, рыжий, пылкий, умудрился влезть к ней в окно, вызвал визг и переполох, за что и был арестован. Теперь Оковалков смотрел на металлизированную пленку, стараясь угадать, где лежит Маковой. Не чувствовал ни боли, ни жалости.

– Наш враг хитер и коварен. Сколько у него уловок, ловушек, хитростей, это мы с вами знаем на перехвате караванов. А вертолетчики, наши боевые братья, это чувствуют своими бортами и винтами. Раньше по ним отстреливались «Стрелами» и «Рэд ай», и они научились избегать поражения, а теперь появились новые ракеты класса «земля – воздух» – «Стингеры», и они достают «вертушки» на любой высоте. Теперь от этого проклятого «Стингера» еще трех воинов недосчитался наш батальон. Еще три семьи в Союзе обольются слезами!..

Оковалков слушал тяжелое, в духоте поминальное красноречие замкомбрига. Строй стоял на плацу среди глинобитных казарм с дощатым строением штаба. Степь была серой, бесцветной. На ней ярко, как молодая трава, зеленело аэродромное железо. Стояли вертолеты «ми-восемь» и «двадцатьчетверки» под знакомыми номерами и чужая, недавно подсевшая пара. Оковалков смотрел на чужие вертолеты, думая, кто пожаловал в расположение батальона, какую выгрузил ношу, какую доставил весть.

– Нам еще воевать, выполнять свой долг, а наши товарищи уже выполнили свой долг до конца! Пусть же память об их отваге поможет нам в нашей ратной работе! Поклянемся – в горах ли, в пустыне, но мы настигнем тот караван, что доставил ракеты, забьем его, отомстим!..

Оковалков не испытывал раздражения к замкомбрига за его натужное красноречие, как не испытывал жалости к погибшим пилотам. Эти трое выпали из изношенного механизма затянувшейся, лишённой смысла войны, освободили на время пустоты, куда вставят новую запас-

ную деталь. Прибывшие пилоты выйдут из прилетевшей машины с чемоданчиками, в блестящих кокардах, удивленно поглядывая на белесую степь с развалившимся древним мазаром, на казармы, похожие на растрескавшиеся ковриги, на бесцветную, выпитую солнцем тряпицу некогда красного флага.

А этих троих доставят сначала в бригаду, где похоронная команда запаяет их в жестяные гробы, заколотит в смоляные ящики, и нагруженный «гробовщик» утянет их за хребет. А ему, майору Оковалкову, командиру роты спецназа, все так же летать на досмотры караванов, бежать по сыпучим барханам, тыкать щупом в переметные верблюжьи сумы, глядя, как скалится губастая верблюжья морда, как дрожит от страха чернолицый желтозубый погонщик.

– Прощайте, боевые товарищи! Пусть на Родине земля вам будет пухом!

Автоматчики из взвода охраны ударили в небо негромкими очередями. Вертолетчики в пятнистых комбинезонах приподняли носилки, повлекли их сначала над пыльной землей, а потом, удаляясь, над зеленым аэродромным железом. Оковалков видел, как блестят, лучатся в носилках тяжелые кули и бензозаправщик отчаливает от вертолета.

Две машины, одна за другой, разбежались по железу, косо взмыли. Прошли над плацем, унося погибших. Замкомбрига запрокинул в небо цыганское лицо, держа ладонь у виска.

– Разойдись!..

Строй батальона стал рассыпаться, разваливаться. Солдаты повалили к казармам.

– Оковалков, стой! – окликнул замкомбрига. – Пройдем со мной!

Оковалков оглянулся на плац. В том месте, где недавно лежали носилки и блестели кули из фольги, на мгновение возникли три черные слепые дыры, словно прогорело и испепелилось пространство. Таков был эффект зрачков, насмотревшихся на металлический блеск.

Послушно, ни о чем не спрашивая, он шагал за командиром, видя перед собой его спину, подстриженный черный затылок, задравшийся зеленый полковничий погон. Все знали: замкомбрига мечтал по завершении срока попасть в Москву, в управление разведки, где были у него друзья и протекция. Но в последние месяцы засадные группы, громя караваны с оружием, сами несли потери. Из штаба армии приезжала инспекция. Генерал перед строем накричал на полковника, обвинил в «кровопийстве», грозил отстранением от должности. Замкомбрига распрощался с мечтой о Москве, был подавлен и сломлен. Отменил все рискованные засадные действия. Посылал группы на одни вертолетные досмотры в пустыню. Люди томились в бездействии, без боевых результатов. Зато исчезли потери, из штаба не шли нарекания.

Они прошли за высокую саманную стену, где, укрытое от глаз, находилось помещение для тайных встреч и переговоров с платными агентами из соседних кишлаков и селений, с дружественными племенными вождями. Здесь под вечер, в сумерках, останавливалась зашторенная машина, и из нее выскальзывала укутанная, безликая фигура в чалме или мелькали черная борода и усыпанная блестками перевязь.

Они прошли по тесному коридору. Остановились перед ковром, занавешивающим вход. Замкомбрига отодвинул ковровый полог и, почтительно наклоняясь, спросил:

– Разрешите, товарищ генерал?..

В комнате за низким восточным столиком сидел сухощавый с незагорелым выбритым лицом человек. Смотрел на вошедших серыми властными глазами. Он был одет в белую рубаху, легкие кремовые брюки. На пальце блестело золотое кольцо. Он был не отсюда, из другой реальности. Военного выдавали в нем короткая стрижка и резкий короткий жест, которым он пригласил их войти.

– Прошу, – сказал человек, указывая на мягкий диванчик, где день назад сидел Оковалков, и косматый, в голубоватой чалме пуштун осторожно подымал пиалку с зеленым чаем.

Рядом с диванчиком стоял кожаный полураскрытый саквояж. В нем виднелась стопка чистых рубах, книга в нарядной обложке, коньячная бутылка. К саквояжу был прислонен автомат.

В соседней комнате официантка Тамара, пышногрудая, в кружевном фартучке, ставила на стол прибор, рыбницу с красной семгой, тарелку с маслинами, вазу с виноградом. Оглянулась на вошедших красивым зеленоглазым лицом.

– Тamarочка, пойдй погуляй! – Замкомбрига мягко ее выпроваживал, пропускал мимо своего чернявого колючего лица ее розовые щеки и губы, смеющиеся ласковые глаза. – Товарищ генерал, майор Оковалков, командир третьей роты, наилучшие боевые результаты, орден Красной Звезды.

– Садитесь, майор! – Белая сухая рука указала на диван. – Времени мало. Приступим к постановке задачи.

Генерал раскрыл на столе карту, а Оковалков, глядя на бледное без загара лицо генерала, на его незапыленную рубашу и брюки, думал: вот кого доставила в батальон чужая, с неизвестными номерами вертолетная пара.

– Не секрет, что на нашем театре у противника все в большем количестве появляются переносные зенитно-ракетные комплексы, в том числе и новейшей системы «Стингер». Потери авиации растут. Изменения в тактике применения самолетов и вертолетов не привели к желаемым результатам. Утрачивается главное наше преимущество – абсолютное господство в воздухе. Оказываются парализованными наши наземные действия, дивизионные и армейские операции. Без поддержки с воздуха потери в войсках могут достичь критической величины...

Генерал водил ладонью над картой. Оковалков вглядывался в знакомые рыже-зеленые, бело-коричневые разводы ландшафта с наименованиями кишлаков и ущелий, по которым он водил разведгруппы. Вспоминал последние случаи гибели вертолетов и самолетов. «Стингеры», появляясь в районе боевых действий, наводили страх на пилотов. То загоняли их под облака, где, подобно чайкам, кружили едва заметные вертолеты, не способные с высоты наносить прицельные удары, поддерживать действия войск. То машины прижимались к земле и тогда на сверхнизких с треском и грохотом неслись над высохшим руслом, и рябило в глазах от мелькания камней и откосов. Отменялись дневные полеты транспортеров, тяжелые самолеты без габаритных огней, жужжа в ночи, тупо ударяли колесами в грунтовые аэродромы. Но и ночами на подлетах впивалась им в хвост цепкая всевидящая ракета, входила в тепловую струю мотора, разворачивала взрывом машину, осыпая на ночные пустыни и горы горящие угли металла.

– Авиационным конструкторам дано правительственное задание защитить летательные аппараты от «Стингеров», – продолжал генерал, – снабдить машины надежными средствами борьбы и защиты, снижающими эффективность зенитно-ракетных комплексов. Конструкторы нуждаются в образцах ракет. Разведка получила приказ командования захватить у противника образцы ракет и переправить в конструкторские бюро. На вашем участке, по данным разведцентра, ожидается проход каравана с грузом «Стингеров». Необходимо перехватить караван, захватить образцы, доставить в разведцентр. Вот предполагаемый маршрут каравана...

Рука с обручальным кольцом легонько ударила в карту, где в зеленой долине вдоль коричнево-желтых предгорий был проложен маршрут.

– Здесь пройдет караван!

– Но здесь, товарищ генерал, не идут караваны. – Оковалков вглядывался в знакомую карту, мысленно пролетая над рыжими горбами пустыни, над волнистыми до горизонта барханами, где двигались тракторы и «Тойоты», маскировались в песках, а разведчики высматривали их с вертолетов, стерегли в засадах, жгли из неба снарядами, «забивали» в упор залпами гранатометов. Пустыня вдоль маршрутов была усеяна сожженными коробами машин, истлевшим, содранным с убитых тряпьем. – Караваны, товарищ генерал, идут по пустыне, заходят в «зеленую зону» под прикрытие кишлаков и дальше, по перевалочным базам, на север. В этом районе, сколько помню, не было ни одного каравана!

– Агентура, завязанная на Пакистан, сообщила: малый караван в составе одной-двух «Тойот» с грузом «Стингеров» пройдет по краю «зеленки», по кишлакам Шинколь и Усвали, в стороне от обычных маршрутов. – Незагорелое лицо генерала чуть дрогнуло раздражением, серые глаза сощурились и укололи майора. – Данные проверены в разведцентре и не вызывают сомнений!

– Время прохождения?

– Может, сегодня, завтра, через два дня, – пожал генерал плечами. – Быть может, уже идет.

– Время выступления?

Оковалков посмотрел на замкомбрига, пытаясь получить от него в движении зрачков, в шевелении бровей и губ неявное опровержение услышанного.

Но чернявое, с красноватыми белками лицо выражало полное согласие, безраздельное подчинение, чуткое вслушивание и угадывание генеральских желаний и мыслей.

– Через час доложите план... После обеда – выступление... – сказал замкомбрига, упреждая генерала торопливым приказом.

– Группе потребуется хотя бы суточная подготовка, – сопротивлялся Оковалков, чувствуя подымавшуюся невнятную тревогу, природа которой была не в словах генерала, а в нем самом: в глубоком, под корнями волос, под черепом, в загадочном темном центре, где гнездились его страхи, предчувствия, невыявленные, ожидавшие своего часа прозрения об этой войне, о себе на этой войне. – Хотя бы полдня на стрельбище. Полдня отработка на местности. Мы два месяца не ходили на засадные действия. Снизилась боеспособность.

– Особое задание командования, – сказал генерал, сжимая белые чистые пальцы. – Другим подразделениям спецназа, на других направлениях поставлена та же задача. «Стингер» должен быть в Москве. За успешное выполнение – Золотая Звезда. Вот все, что я могу вам сказать.

Маленький темный центр под черепом, под корнями волос старался понять и высчитать. Замкомбрига мечтал вернуться в Москву и ради этого посылал его, Оковалкова, на задание.

Генерал не вышел проводить Маковей и в то время, как гремел прощальный салют, читал детектив. Моджахеды тряслись на «Тойоте», колотились на верблюжьих горбах, везли под тряпьем, под ворохом верблюжьих колючек ящик с зенитной ракетой. На дальнем заводе в Америке рабочие собирали «Стингер», драгоценное начиненное электроникой тело. Маковей в горящей машине падал на скалы, и в эфире хрипел его клекот: «Прощай, мужики!..»

Маленький центр, как крохотный «черный ящик», собирал информацию, зашифрованную, неявную, ждущую часа, когда можно будет вынуть прибор, вытянуть бесконечную ленту, вставить в дешифратор бегущие знаки, и тогда огромно и мощно, обнажив свою тайну, откроются пружины войны. Но только не теперь и не здесь.

– Через час мне и начальнику штаба доложите план операции! – повторил замкомбрига. – Выполняйте.

– Слушаюсь! – Оковалков поднялся, ставя свой пыльный ботинок рядом с кожаным полураскрытым саквояжем, где блестили в целлофане рубахи и торчало горлышко коньячной бутылки. – Разрешите идти?

– Идите!

Он, ступая на тяжелый, с красным ворсом ковер, вышел из комнаты. Навстречу, улыбаясь, чуть задев его пышной грудью, проскользнула официантка Тамара, неся блюдо с земляными орешками.

Поманив рассыльного, Оковалков приказал:

– Найди Саидова! Пусть подойдет к тюрьме!

Он направился в отдаленный угол гарнизона, где размещался пункт содержания и допроса пленных – стальной, врытый в землю контейнер от подбитого трейлера, оборудован-

ный камерами. Там под стражей маялись захваченные «языки», там же велись допросы. Оковалков ждал, когда подойдет таджик-переводчик, рядовой его роты, которого он предпочитал штатному, приписанному к батальону переводчику. Он отступил в тень у изгороди и смотрел сквозь колючую проволоку, как тускло пылится степь, колеблется в миражах остов разрушенного мазара и в сорном солнечном свете плывет закутанная фигура белуджа.

Тут же, в тени, лежали собаки, разномастные, беспородные, рожденные на окраинах нищих кишлаков, вечно голодные, прикормленные на гарнизонных обедах. Преданные, благодарные, они увивались у солдатских ног, лизали солдатские сапоги и ярились, когда видели афганца, чуяли запах его пота, его маслянистых выделений. Кидались на его одежду, чувяки, рвали ветхую ткань накидок. Для пленных, когда их выводили с завязанными глазами из подземелья и вели под конвоем в нужник, собаки были страшнее любых допросов. Солдаты не слишком торопились отогнать сбесившихся зверей ударом сапога или приклада.

Оковалков поджидал в тени переводчика, слыша за дощатой стеной разговор караульных.

– Не могу без бабы! Ночью просыпаюсь – кажись, стену башкой прошибу! – раздавался голос ефрейтора Бухова, громадного детины, известного в роте своей силой и вздорностью. – Томка, официантка, сука грудастая: «Даром, – говорит, – не даю!» Я в прошлый раз, когда караван забили, с «духа» кольцо снял, ей принес. Она мне в котельной дала. «Еще, – говорит, – приноси!» А откуда брать, если на засады не ходим! Сука, подстилка офицерская! Ты баб небось и не знал? Не знаешь, какая баба в постели?

– Не знаю, – робко отозвался другой слабый голос.

– Баба в постели – зверь! Томка, как зверь, кусается! Вчера меня раздражила, я бы ее силой взял, да прапорщик завалился. Тоже небось с подношением к ляжкам ее подбирается. Не могу я без бабы, хоть застрелись!

Оковалков увидел идущего по солнцепеку Саидова. Таджик был строен, гибок в талии. Линялая исстиранная форма была хорошо проглажена, ловко на нем сидела. Он пружинил, покачивался, словно в седле. Саидов был студентом университета, изучал фарси, был вежлив, деликатен, незаменим в засадах. У горящих, с пробитыми бортами «Тойот» выхватывал кипы трофейных листовок, исламских документов, воззваний, прочитывал их на бегу. Обыскивал оглушенных, захваченных пленных, делая на поле боя первый беглый допрос.

Оковалков помнил, как во время засады подорвался пакистанский «Симург», и начинали трещать и брызгать в огне цинки с патронами, и Саидов кинулся к подбитой машине, вытащил из огня Коран в кожаном переплете. И после в казарме, когда рота отдыхала и дымилась ночная железная печка, Саидов, дневая, сидел перед печкой, читал Коран. Красные отсветы бегали по кудрявым вьющимся строчкам.

– Звали, товарищ майор? – Саидов приблизился, встал перед ним, серьезный, приветливый.

Ротный, увидя его, испытал чуть слышный прилив тепла и смущения. Представил его интеллигентный дом в Душанбе, откуда он попал на войну, к кишлакам и мечетям, где жили его солдаты и единоверцы. На броне, с автоматом, он давил протекторами поля и арыки, допрашивал пленных, выхватывал из огня священные книги, и в темных умных его глазах появлялось большое туманное выражение.

– Поможешь, Саидов!.. Пошли!..

Они обогнули дощатую, оплетенную проволокой изгородь. Ефрейтор Бухов, присевший в тени, вскочил, нарочито выпучил водянисто-голубые воловьи глаза. Прокричал:

– Караул, смирно!

На этот рык рядом с ним вытянулся тщедушный солдатик Мануйлов, испуганно мигая белесыми ресницами. Его, новобранца, мучил и терзал своими похотливыми рассказами Бухов.

– Открывай хозяйство! – приказал Оковалков, спускаясь по приступкам вглубь, входя вслед за Буховым в гулкое железо контейнера.

В первой зарешеченной клетке встрепенулся, щурясь на свет, худой, заросший щетиной афганец. Запахивал на тощих ребрах хламиду, поправлял на макушке розовую расшитую тюбетейку.

– Здравия желаю, товарищ командир! – отчеканил он, приставляя грязные пальцы к тюбетейке, раскрывая в улыбке желтые зубы.

Пленный содержался здесь не одну неделю. С ним работала бригадная разведка, готовя неведомую Оковалкову акцию. Охрана тюрьмы изнывала от скуки. Обучила пленного несколькими русским фразам, и тот при появлении офицеров вскакивал, отдавал честь, выкрикивал:

– Слава вэдэвэ! Здравия желаю! Разведчик, будь бдителен!

Оковалков прошел мимо камеры, ловя на себе заискивающий, умоляющий взгляд.

В соседней камере сидел душманский шофер, захваченный при досмотре, когда вертолет завис над одинокой, застрявшей в песках «Тойотой», и оттуда врассыпную посыпались фигурки стрелков. Вертолет гонялся за ними, укладывая одного за другим пулеметными очередями. Группа досмотра нашла в машине среди промасленных «безоткаток» и тюков с листовками испуганного человека в разодранных шароварах, доставила в расположение батальона.

Теперь шофер, затравленный, как темный лохматый зверек, выглядывал сквозь прутья решетки. Шаровары его были порваны, в дырах виднелись худосочные кривые ноги. На маленьком, в колючей щетине лице пылала свежая ссадина. Пленный испуганно жался к стене, пока гремел замок камеры.

– Ты, что ли, его саданул? – спросил Бухова, кивая на свежий синяк.

– Да нет, товарищ майор, – ухмыльнулся ефрейтор. – Это он сам, в темноте!

Оковалкову не было жаль затравленного человека, над которым носился вертолет, грохотали очереди, и солдаты вырвали его из машины, отодрали от песков и барханов, пронесли по горячему небу и ввергли в подземную темницу. Человек был малой безымянной песчинкой в вихрях войны. Как и сам Оковалков.

Они сидели в тесном отсеке на колченогих железных стульях. Саидов внимательно вслушивался в вопросы майора, переводил их афганцу, словно лепил из них свои собственные изделия, вкладывал в уши афганцу, дожидался ответа, осторожно снимал этот ответ с шевелящихся растресканных губ, возвращал Оковалкову.

– Спроси его, он – шофер, всю округу объездил. В кишлаках Шинколь, Усвали люди остались?

Пока звучал рокочущий голос Саидова, и хмурился лоб афганца, и дергалась, болела ссадина на его скуле, и губы, запинаясь, выговаривали булькающий ответ, Оковалков успел подумать: добываемая информация скрыта у этих пленных, запечатана страхом, ложью и ненавистью. И добывать ее приходится хитростью, деньгами, ударами кулака.

– Говорит, людей нет. Все ушли в Пакистан. Кишлаки пустые стоят.

– Спроси, может, опять вернулись? Опять в кишлаках живут?

И пока Саидов и пленный менялись фразами, бережно передавали друг другу неведомые Оковалкову изделия, созданные из загадочных звуков, блеска темных зрачков, жестов смуглых отточенных пальцев, он подумал: ему никогда не понять скрытой в народе истины, не пробиться к ней лукавством, ударом и окриком. Все, что он сможет постичь, – скудная информация, исковерканная ударом и выстрелом.

– Говорит, не вернулись. Самолеты летали, бомбы, ракеты бросали, кишлаки сожгли. Люди ушли в Пакистан.

– Доктор Надир вернулся в район Шахнари? – Оковалков выпрашивал о полевом командире, чьи отряды воевали в «зеленке»: принимали и караваны с оружием, проводили с конвоем

по своей территории, передавали дальше на север соседним полевым командирам. – Доктор Надир вылечил свою рану?

– Доктор Надир еще не пришел в Шахнари, – был ответ. – Лечит рану, полученную в бою с шурави. Когда доктор Надир вернется, люди сразу узнают, – начнется большая война.

– Пусть скажет: к кишлаку Усвали может проехать машина? Он шофер, должен помнить дороги.

Оковалков вспоминал желто-зеленую карту генерала с главной, ведущей к границе дорогой, по которой сквозь разрушенную разбитую «зеленку» двигались караваны. Другая хрупкая ниточка горной дороги вела к кишлаку Усвали. По ней, по ухабам и рытвинам, едва ли пройдет машина, только ишак и верблюд. Генерал с обручальным кольцом ошибался – в Усвали не проедут «Тойоты».

Ответ подтвердил подозрения. Даже для юрких «Тойот» дорога была непроезжей. В кишлак добирались верхом. Зимой в снегопад прерывалась с селением связь. Агентура генерала ошиблась. Группа спецназа придет к кишлаку, просидит впустую в засаде, выпьет всю воду, уничтожит сухпай и усталая, вялая вернется на базу. Еще одна блажь, задуманная в высших кругах.

– Пусть расскажет о минной обстановке в «зеленке». Он ездит по дорогам. Есть или нет там мины? – Оковалков спросил, дожидаясь ответа, озирая темный заплыванный бункер с окурками на полу, где скрючился пленный, торчали из рваных штанин грязные худые коленки. И вдруг подумал: этот забитый афганец находится во власти сильных, здоровенных солдат, которыми командует он, Оковалков, но он сам со своими солдатами находится во власти окрестных пустынь и отрогов, пленник этой земли и войны.

– Говорит, мин нет. Машины идут свободно, – был ответ.

Оковалков поднялся, завершая допрос. Саидов прощался с пленным, жал ему руку, что-то говорил, рокотал успокаивающе, доверительно, нежно. И в затравленных лиловых глазах афганца вдруг слабо мелькнула надежда.

Оковалков, слыша гром замка, поднялся по ступенькам на солнце. Собаки вскочили, стали виться вокруг, недовольно принюхиваясь к запахам, вынесенным из подземелья. Одна, мохнатая, черная, с трахомными, слезящимися глазами, осталась лежать, провожая майора большим затравленным взглядом.

– Отыщи капитана Разумовского, – приказал он Саиду. – Пусть в модуль зайдет!

Мимо штаба он прошествовал в жилой модуль, где в длинный сквозной коридор выходили одинаковые дощатые двери с именами обитателей – офицеров и прапорщиков батальона. Здесь, в тесной комнате, жил он сам вместе с замкомроты капитаном Разумовским. Две их койки, общий столик, тумбочка с электроплиткой, самодельные, из деталей «КамАЗа» гантели, шлепанцы под кроватью, нарядный с хромированными глазницами «Панасоник» – вот и все их убранство.

Оковалков медленно сел на кровать, продолжая думать невнятную клубящуюся думу, в которой присутствовала бетонная трасса, окруженная ворохами и коробами сожженной техники, развилка с разрушенным элеватором и разгромленной кирпичной мечетью.

Дорога раздваивалась. Одна ее ветвь с придорожными заставами уходила на север, через горы и «зеленые зоны», к границам Союза, и по ней непрерывно, с упорством, преодолевая подрывы, поджоги, ползли колонны «КамАЗов» с продовольствием, боеприпасами, топливом, питая воюющую изнуренную армию. Другая ветвь уклонялась на юг, сквозь разоренные кишлаки, иссеченные сады и арыки, в пустыню, к пакистанской границе, и оттуда встречным напором валило оружие, питавшее полевых командиров, проникало в ущелья, в плодородные низины, в пестрые городки. Два напора встречались, ударялись сталью, взрывами, белым жаром. Место их встречи искрилось, покрывалось стреляными гильзами, драным железом,

кровавым тряпьем. Каменными пятнами расплзались по солнцепеку мусульманские кладбища. Летели за хребет «гробовщики», унося запаянную, обшитую досками ношу.

Туда, на юг от развилки, уходили группы спецназа забивать караваны с оружием. Там тянулись знакомые Оковалкову русла арыков и подземные каналы кяризов. Там умирали яблоневые сады и гончарные руины селений. Приказ генерала был странен, уводил его в сторону от обычных караванных путей, на безжизненный край долины, где не было проезжих дорог. И это смущало майора, раздражало его, делало участником ненужной затеи.

Думая, он смотрел в расколотое, стоящее на столике зеркало. Оттуда наблюдало за ним большелобое лицо с белесыми редящими волосами, маленькими тревожными глазами, некрасивое, с неправильным носом и вялой линией рта, и это усталое, покрытое загаром и черной военной копотью лицо был он сам, Оковалков, тот, что когда-то разбежался по зеленой траве, отталкивался босыми пятками от желтого откоса, кидался узким, легким, словно пернатым телом в темную мягкую воду, в ее прохладную глубину, в солнечно-зеленую толщу, и плыл, раздвигал растопыренными пальцами звенящую живую влагу среди серебряных пузырей, скользящих у дна ракушек. Выныривал на поверхность в фонтане солнца – летняя река, цветные домики, косые заборы и огороды и испуганная его плеском, встревоженная и недовольная стая белых гусей.

Неужели это он, Оковалков, усталый майор, утомленный переходами, железным зловоньем оружия, запахом нужников, лазаретов, умелый участник жестокой азиатской войны, жил когда-то в уютном домике на берегу ленивой реки, и мать выгоняла к воде гогочущих толстобоких гусей?..

Отражение в зеркале удивленно смотрело, пыталось улыбнуться, шупало пальцами длинные залысины лба.

В коридоре зазвучали шаги, дверь отворилась, и вошел Разумовский, невысокий, шарообразный, упругий, весь в подвижных суставах и мышцах, с ярким синеглазым лицом, на котором золотились лихие усики. Бодрый и глянцевитый, он, казалось, только что искупался, и не ясно было, где он нашел прохладный водоем среди пепельной пыли и праха.

– Звал? – спросил он с порога, проходя и плюхаясь на кровать. – Кто эта залетка в штатском? От «соседей»? Или из управления? Есть что-нибудь новенькое? Может, война? – Он легкомысленно усмехался, дружелюбно поглядывая на майора, и тот усмехнулся в ответ. – Сегодня баня, рота чистое белье получает, а выглядит, как каменный уголь. Я прапору говорю: «Я из тебя мыло сварю, но простыни будут белые!» Так что там у нас?

Разумовский был родственником известного в войну полководца из вельможной военной семьи. Проходил по службе легко и быстро, и во всем, что ни делал, был налет удачи и легкости. Он воевал охотно и ловко, жадно набирал из войны драгоценный опыт, пользовался уникальной возможностью овладеть боевым ремеслом. Любопытство и жадность, с каким и он воевал, не давали места унынию, избавляли от раздражения и злобы. Он изучал пушту и дари, вел дневник боевых операций, делал заметки о климате и природе, изучал этнографию и обычаи. В письма, которые он посылал домой, были вложены стебельки и чахлые цветочки пустыни, и в Москве жена составляла из них гербарий. Туда же, в конверты, ложились рисунки фломастером, беглые походные зарисовки, где стрелки в чалме били по колонне «КамАЗов», группа спецназа досматривала верблюжью кладь, чернобородые старцы сидели на ковре перед блюдом.

Он напоминал Оковалкову прежнего царского офицера, который сочетал войну с пытливым узнаванием земель и народов, оставлял после себя в военных академиях атласы стран, описи нравов, исследования по языку и ботанике. Там, где вставали их полки, завязывался сложный невоенный союз с местным людом. У стен гарнизона рядом с луковкой православного храма возносились мечеть или пагода.

Таким казался Оковалкову молодой капитан. Чувствуя над собой его превосходство, Оковалков не тяготился, а любил капитана, дорожил его дружбой.

– Ты все жаловался на безделье, – сказал Оковалков. – Говорил, замкомбрига лапу сосет. Кажется, он вытащил лапу из пасти. Говорит, пора воевать.

– Чего он хочет? – встрепенулся Разумовский, и глаза его жестко блеснули.

С тех пор как в батальоне началась «борьба с потерями» и прекратились выходы на засады, капитан изнывал от безделья, клял «трусов-командиров» и «идиотов-политиков». Пропадал на стрельбище, глуша тоску стрельбой из всех видов оружия, изматывая себя и солдат.

– Что хочет наш полководец?

– Хочет «Стингер».

Подробно, со всеми сомнениями Оковалков рассказал капитану о генеральском приказе, о данных разведцентра, о непроезжей горной дороге с двумя нежилыми кишлаками, через которые, как полагал генерал, пройдет караван со «Стингерами».

– Сегодня – выход. Через час – доклад командиру. Главный гвоздь – как выйти в район без засветки, протащить группу под носом у «духов». Мы еще только планируем, а доктор Надир уже минирует наши маршруты. Не хочу из-за дури начальства идти впустую и вернуться с парочкой трупов.

Он извлек из планшета карту, копию той, генеральской. Постелил на полу, и оба они, свесившись с кроватей, буравили ее зрачками, слыша, как шаркает проходящий за окном караул.

– Думай, думай, как пройти без засветки!

Батальон посылал боевые группы, доставлял их на точки броней, забрасывал вертолетами, а оттуда пешей цепочкой пробирались в засады, залегали у караванных путей. Через день-другой после боя их вытаскивали на броне или воздухом, грузили трофеи и раненых, выносили на брезенте убитых. С той минуты, как группа покидала казарму, шла к вертолету, вырубивала на бэтээрах к бетонке, за ней начинало следить множество невидимых глаз. Весть о ней разносилась бессловесной азбукой, неуловимыми знаками, словно в горячем ветре над «зеленкой», над глиной кишлаков и над камнем кладбищ веяла весть о врагах, об их тайном военном замысле.

– Если десант вертолетами в район Усвали и Шинколь? – рассуждал Разумовский, топорща золотистые усики. – Вертолетчики не знают площадок, ночью в горы не сядут...

Оковалков кивал, соглашался – вертолеты не сядут на горы.

– Если с колонной двинуть к развилке, а потом незаметно отломиться, в пыли, в суматохе соскользнуть в распадок и в ложбинке притаиться до ночи?.. Да это было уже! Любой пастушок засечет, любой бабай донесет Надиру!.. Нужен какой-то спектакль!..

Он придумывал, морщил загорелый лоб, пощипывал усики. Над его кроватью была прицеплена фотография жены и детей. Прелестная женщина обнимала светлицу девочку, а мальчик положил подбородок на колени матери. Они жили далеко, в уютной московской квартире, и не знали, что их муж и отец склонился к карте, хмурится, нервничает, обдумывает план операции.

Над изголовьем Оковалкова висела фотография матери. Она смотрела на него грустно и тихо, то ли жаловалась, то ли корила. Не было у него жены и детей. Была не слишком молодая женщина в уральском гарнизоне, откуда ушел воевать, но она, как писали ему бывшие сослуживцы, быстро утешилась с другим офицером и не писала Оковалкову писем.

Глядя на семейную фотографию друга, Оковалков радовался за него. Одаренная личность Разумовского раскрывалась во всей полноте. Когда-нибудь, когда кончится эта война, Оковалков побывает в красивом уютном доме друга, увидит его жену и детей.

– Стоп! Нащупал! А если мы так сработаем! – В синих глазах Разумовского пробежали темные тени, рассыпались и стали вновь собираться в блестящие точки. Было видно, как мысль его шарила, облетала пространство, кралась по тропам, задерживалась на перевалах, ныряла

в «зеленку», вновь возвращалась в гарнизон, где горбились казармы, кривился лысый модуль и на взлетном поле вцепились когтями в аэродромное железо хищные вертолеты огневой поддержки. – Вот он, какой спектакль!

Шумно, открыто бэтээры выезжают из батальона и катят по бетонке мимо кишлаков, сквозь многолюдный городок, на глазах у душманских разведчиков. Добираются до безлюдного поворота, где трассу обступают солончаки, белесые тростники, сухие, сбегаящие с гор русла. Здесь, на безлюдье, инсценируется стычка с противником. Пальба, взрывы, круговая оборона бэтээров. Подбитый броневик на буксире тянут обратно в часть. Солдаты в окровавленных бинтах лежат и сидят на броне. В тростниках оставляются россыпи стреляных гильз, окровавленный солдатский картуз, скомканная чалма. Все выглядит так, будто группа напоролась на засаду одной из бесчисленных наводнивших «зеленку» банд.

Тем временем спецназ под прикрытием шума и дыма незаметно уходит в распадок по тропам, в горы, в сумерки, в ночь. Совершают пеший ночной бросок и выходят к Усвали и Шинколю. Разведка душманов фиксирует придорожную стычку, возвращение мнимой группы. А реальная без засветки уходит по ночному маршруту.

Таков был спектакль, придуманный Разумовским. Его остроумная мысль увлекла Оковалкова.

– А как бэтээр подобьем?

– Паяльной лампой накоптим, приложим драный железный лист.

– А чем бинты кровянить?

– Собачку зарежем, литр крови сольем.

– Ты считаешь, доктор НаDIR – дурачок?

– Мы спектакль устроим – поверит! «Духовской» обувью следы натопчем! Лепешки их набросаем! Пачку денег кинем! Чалму за тростинку залепим! Кучу дерьма оставим «по-духовски», без подтирки! Полный натюрморт! Пусть доктор НаDIR с лупой следы изучает, а мы уже будем в кишлаке Усвали!

Разумовский засмеялся, пощипывая жесткие усики. Миловидная женщина обнимала детей, любовалась его энергией, силой. Оковалков верил ему, вовлекался в его затею.

– Пойду доложу замкомбрига. А ты давай в роту! Построй людей!

За гарнизоном у стрельбища солнечно пылила земля, метались люди, слышались крики – рота играла в футбол. Оковалков смотрел, как сильные молодые тела, глянцевитые от пота, перемещаются по сорной земле, пускаются в бег, сталкиваются, сцепляются. В столбе пыли крутится и рычит живой яростный ком, а потом распадается, и несколько игроков гонят мяч, темнолицые, с красными шеями, с белыми незагорелыми спинами. Он узнавал солдат в этих голых игроках – автоматчиков, гранатометчиков и радистов. Сейчас он крикнет, оборвет игру, заставит их, недовольных и ропщущих, возвратиться в казарму. Потные, возбужденные игрой, они выслушают его командирское задание. И Оковалков смотрел на игру, медлил, не решался подать команду.

Игру судил взводный, старший лейтенант Слобода, в плавках, с круглыми мускулами, с потемневшими от пота усами. Он носился по полю, шумно шаркал кроссовками, страстно переживал, едва удерживаясь, чтоб не пнуть мяч. При нарушениях свистел в два пальца, сжимал кулаки и кричал:

– Халилов, ты что руками хватаешь, чмо!.. Я тебя сейчас с поля под жопу!..

У взводного недавно родился в Житомире сын. По этому поводу он напился, бузил, стрелял из автомата в воздух. Товарищи, такие же, как и он, старлеи, прятали его от глаз командиров. Теперь же, в избытке сил, он метался среди играющих, и из пыли слышался его гневный крик:

– А я говорю, штрафной!.. Сейчас дам в глаз за подножку!

Игроки наслаждались воздухом, солнцем, посыпавшей их теплой пылью. Еще немного, и все они, с крутыми бицепсами и тонкими гибкими мышцами, с могучими лопатками и хрупкими ключицами, по командирскому окрику нырнут в жесткую грубую форму, обложатся тяжелым оружием, обвешаются гранатами и взрывчаткой, помчатся на душной броне, заколышутся медленной вялой цепочкой на горной тропе, упадут на колючие камни, содрогнутся от удара и взрыва, и снова, освободившись от кровавых, в слюне и слизи одежд, голые, затрепещут на операционном столе, пуская в себя острое лезвие скальпеля, клюв пинцета, плотный йодный тампон.

Оковалков смотрел на играющих. Это поле между стрельбищем и гарнизонной помойкой с блестящими консервными банками было окружено хребтами, степью, разрушенными кишлаками, россыпями мусульманских кладбищ. Игравшие, забыв, что они солдаты, отринув на время свои автоматы и рации, носились, как дети, ссорились, ликовали. И майор все медлил, не решался прервать игру.

На ближних воротах стоял латыш Петерс, радист. Светлый бобрик, широкоскулое лицо, гибкая согнутая спина. Он упер ладони в колени, вытянул крепкую шею, следил за далеким мячом. Мяч приближался. Петерс чуть разогнулся, напряжился, стал похож на кошку. И когда нападающий, маленький юркий грузин Цхеладзе, набежал, быстро мелькая ногами, Петерс, не боясь удара, ринулся под ноги грузину, вырвал мяч, забил под себя, скрючился над ним, а грузин издал вопль досады, задергал в воздухе кулаками, изображая страдание.

Самоотверженный бросок вратаря напомнил Оковалкову другой бросок, когда Петерс под огнем пулемета кинулся по открытому полю, уклоняясь от дымных, дерущих землю очередей. Упал в арык, невидимо прокрался по руслу, забросал гранатами душманского пулеметчика, спас взвод от расстрела.

Майор следил за игрой, за желтой прозрачной пылью, и вдруг ему померещилось, что в горячей золотистой пыли среди голых футболистов бежит убитый год назад санинструктор. Его крупная бритая голова мелькнула на солнце. И Витушкин из расчета АГС, подорвавшийся на тропе, гнался за мячом, двигал крутыми плечами. Хаснутдинов, механик-водитель, разорванный фугасом, маленький, верткий, бился за мяч, выковыривал его из ног Андрусевича, долгоязого белоруса, убитого пулей в лоб. Все они, погибшие в бою по его приказу, взорвавшиеся и сгоревшие, бегали в золотистой пыли.

Оковалков прогнал наваждение. Души убитых улетели вместе с облаком пыли.

Два нападающих, грузины Цхеладзе и Кардава, быстрые, чернявые, как близнецы, чувствовали друг друга без слов и жестов, по одному стремительному взгляду. Длинный шуршащий пас. Кардава принял мяч на ботинок, воздел его вдоль своей груди вверх, подбил головой, поддел коленом, а потом длинно, плоско пустил наискось в пустую часть поля, где уже оказался Цхеладзе. Он косо, с разбега, ввертывая в мяч крутящую энергию удара, саданул по воротам. Петерс слабо вскрикнул, успел черкнуть пальцами по мячу – тот пролетел насквозь под ржавой трубой верхней штанги.

Грузины кинулись друг к другу, стали обниматься, целоваться, выбрасывали ввысь сильные острые руки, будто кругом на трибунах ревел стадион и они, чемпионы, любимцы толпы, целовались на виду у восторженных поклонников.

Оковалков утром, провожая в последний путь вертолетчиков, глядя на серебристые кули, не испытывал боли и жалости. Часом позже в подземной тюрьме допрашивал пленного, забитого и несчастного, и не испытывал сострадания. И вдруг теперь, на пыльном клочке пустыни, превращенном в футбольное поле, душа его вдруг дрогнула, словно распорили жесткий одевавший ее брезент, и он сочным, больным, страдающим чувством обнял их всех, мыслью выхватил потные молодые тела из этих пустынь и ущелий, из-под прицелов и взрывов. Перенес их на зеленую луговину, где трава, речка, пасется в отдаленье корова, темнеет сырая деревня, и пустил играть на лугу.

Видение луга длилось мгновение. Снова была пустыня, блестели банки помойки, стояли в отдалении вертолеты огневой поддержки, темнел брусок бэтэра.

– Отставить футбол!.. – громко, хрипяще крикнул Оковалков, чувствуя, как крик его останавливает удар игрока. – Рота, становись!.. В казарму, бегом марш!..

С топотом ботинок, сплевывая пыль, солдаты бежали в казарму.

В оружейной комнате с земляным полом и длинными обшарпанными верстаками снаряжалась группа. Солдаты вскрывали цинки, набивали магазины, роняли на пол тяжелые, с медными пулями патроны. Собирали и разбирали автоматы, лязгая затворами. Два пулемета, расставив сошки, стояли на верстаках, пулеметчик из масленки вкачивал смазку. В тяжелые округлые рюкзаки, экономно расправляя каждый уголок и складку, заталкивали пачки с патронами, автоматные рожки, зеленые, гладкие, как корнеплоды, гранаты. Укладывали банки с молоком и тушенкой, шуршащие галеты. Туда же помещали сигнальные ракеты, перевязочные пакеты. Поверх рюкзака в пришитые карманы втискивали пластмассовые фляги с водой. Приторачивали сверху спальный мешок и накидку. Высокие, туго набитые рюкзаки выстраивались на земляном полу, рядом с ними – автоматический гранатомет, две рации, автоматы. Капитан Разумовский проверял у солдат оружие, заглядывал в рюкзаки, подстегивал ремешки и пряжки.

Оковалков в казарме разыскивал сержанта Щукина. Угловатый, большерукий, обстоятельный, он сердито выговаривал Бухову, вернувшемуся из караула.

– Ты его сейчас вдаришь, а потом он же тебя, раненого, понесет. Я тебе, Бухов, последний раз говорю: не тронь Мануйлова!

– Да его, соплю, учить надо! Покамест мы его, соплю, на себе носим!

Тут же огорченный, униженный хлопал белесыми ресничками солдат Мануйлов.

– Отставить базар! – перебил их Оковалков. – Щукин, ко мне!

Он отвел сержанта к кирпичной обмазанной печке и поведал ему план имитации боя.

– Нужна банка крови. Иди и нарежь собаку!

– Какую? – спросил сержант.

– Любую. Их полно у тюрьмы увивается.

– Понял... Мануйлов, возьми в каптерке стеклянную банку из-под томатов. Топай за мной!

Прихватив нож десантника, Щукин неторопливо, чуть косолапо пошел, давая догнать себя Мануйлову, несущему литровую стеклянную банку.

Оковалков, шагая следом, подумал: в роте, состоящей из множества характеров, судеб, устанавливается естественное равновесие, где дурные свойства одних уравновешиваются достоинствами других. Лень – трудолюбием, трусость – отвагой, жестокость – добротой, глупость – смекалкой. Этот сержант своим спокойным доброжелательством, множеством мелких умений и навыков, здравым смыслом умягчал тлеющее среди солдат недовольство, усталость, готовность к ссорам и вспышкам – ко всему, что несла в себе унылая, азиатская, лишенная смысла война.

Они подошли к земляной тюрьме, и от выбеленной тесовой ограды им навстречу поднялась, наострила уши, замахала хвостом пестрая пыльная свора. Собаки обнюхивали их, облизывались, подобострастно заглядывали в лица. Лишь одна осталась лежать, не оторвала морду от лап, болезненно повела в их сторону трахомными глазами.

– Вот Шарик, его и забить, – сказал Щукин, жалостливо глядя на пса. – Он по минам лучше всех работал. Такие фугасы вытаскивал. То ли тола нанюхался, то ли какая зараза пристала. Подыхает. Его и забить, чтоб не мучился.

– Как забить? – испугался Мануйлов, выставив вперед стеклянную банку. – Зарезать, что ли?

Мануйлов полтора месяца как прибыл в часть. Следом командиру пришло жалобное слезное письмо его матери, которая писала, что живет одна и сын у нее единственный. Она умоляла командира сберечь сына, вернуть обратно живым. Мануйлов прошел акклиматизацию, отработал по стрельбе и по тактике, и сегодня ему предстоял первый боевой поход.

– Товарищ майор, возьмите у него банку! – попросил Шукин. Примеривался к лежащей собаке, оглядывал ее с боков. – В деревне похожая была. Тоже Шариком звали...

Наклонился. Собака потянулась в нему, пыталась лизнуть. Он взял ее за уши, отчего собачьи глаза стали узкими, длинными. Оттянул назад голову и резко провел десантным ножом по шее. Сквозь мех ударила черная жирная кровь. Собачья пасть обнажила язык и мокрые в страдании зубы. Сквозь рану в голове вместе с красным пузырем вырвался хлюпающий стон.

Оковалков подставил банку, омываемую пульсирующей алой струей. Шукин давил собачье тело к земле. Ноги собаки скребли и сучили, а отвалившаяся назад голова растворилась на горле второй красный рот. Банка наполнилась, кровь пролилась на землю, мгновенно пропитала пыль. Другие собаки вились в стороне и скулили.

Оковалков отставил банку, отер о землю окровавленные пальцы. Шукин выпустил собачьи уши, и мохнатое тело, вялое, в клочьях липкой шерсти, улеглось на землю.

– Мануйлов, ты что? – Шукин повернулся к солдату. Тот сидел на земле, откинувшись к доскам изгороди, белый, как известь забора. Глаза его были закрыты, губы посинели. – Ты что, Мануйлов?

Шукин несколько раз, короткими шлепками, ударил его по щекам, привел в чувство. Солдатик замигал ресницами, в губы его стала возвращаться розовая жизнь.

– Ничего, Мануйлов, бывает. – Оковалков поддерживал легкую голову солдата, испытал к нему мгновенное щемящее чувство. – Кровь любого на землю свалит. Недаром ее природа глубоко в жилах прячет.

Шукин отирал о землю лезвие ножа, накрывал банку пластмассовой крышкой.

– Пойди, закопай, Мануйлов. – Сержант кивнул на мертвую собаку, бережно поднимая банку, полную красного густого сиропа.

Оковалков заметил, как на мокрый, пропитанный кровью мех села первая глянцевито-зеленая муха.

Рота обедала в низкой саманной столовой. На растресканной глинобитной стене был нарисован белый лебедь, летящий над зеленой Россией. Группа «732», отобранная на засадные действия, два десятка солдат, гремела ложками отдельно за длинным столом, на котором светлым цилиндром высилась алюминиевая кастрюля. Как было заведено, перед выходом офицеры обедали вместе с солдатами, еще в гарнизоне начинали делить с ними мелочи военного быта, сливались с ними в нераздельное перед предстоящими тяготами единство.

Оковалков, Разумовский и старший лейтенант Слобода сидели рядом, ожидая, когда темнолицый узбек-подавальщик принесет миски с гречневой кашей.

– Что-то у тебя суп пересолен! – шутливо-грозно упрекнул подавальщика Разумовский. – Влюбился, что ли?

– В кого, товарищ капитан? – подхватил шутку узбек, ставя перед офицером миски с липким варевом каши, в котором желтели волокна тушенки. – Ханум нету, девушка нету, будем Союз ждать!

– Не могу! – отставил миску Слобода, едва ковырнув кашу. – Глаза не глядят!

– Что так? – удивился Разумовский, набивая рот кашей. – Последний раз тепленькое, мягонькое, а дальше только сухпай.

– Не могу, тошнит от этой стряпни! Лучше с голоду сдохнуть! Не принимает душа!

Оковалков внимательно посмотрел на взводного. Он был сер, глаза его бегали, руки дрожали. Еще недавно яростный и азартный, он носился по полю, свистел в два пальца, а теперь глаза его болезненно блестели и он сипло дышал.

– Что они там, повара, ненавидят нас, что ли?

– Разрешите, товарищ майор! – К столу подошел Шукин, деликатный, обходительный и серьезный. – У Петерса завтра день рождения. Думали, завтра поздравим, а тут выступление. Разрешите сегодня поздравить?

– Разрешаю, – сказал Оковалков.

Шукин вернулся к солдатским столам, где среди жующего люда виднелась белая голова латыша.

– Рота, кончай греметь ложками! – крикнул Шукин и, дождавшись тишины, продолжал: – Петерс, как говорится, будь здоров! Третья рота поздравляет тебя с днем рождения! Чтобы рация твоя, как говорится, всегда выходила на связь. А позывной оставался «Так держать!». Мы тебя любим, Петерс, и уважаем!

Вышел повар в чистом белом сюртуке, вынес на подносе торт, на котором струйками сгущенного молока было выведено: «Петерс, спецназ».

Латыш поднялся, смущенный, довольный, поклонился повару, принял торт, держал его на весу. Все хлопали. Бухов радостно колотил одну тяжелую ладонь о другую. Мягко, радостно аплодировал Мануйлов. Шлепал в ладони переводчик Саидов.

К столу подошли два грузина, Кардава и Цхеладзе, смуглые, горбоносые, с блестящими выющимися волосами.

– У нас обычай есть. На рождение песни петь. Споем тебе, Петерс!

Они обнялись, словно соединились в гармонию их голоса и дыхания. Начали петь страстно, с переливами, то возносясь до хрустального звона, то спускаясь до бархатных роко-тов. Их лица, заведенные глаза, близкие чернявые головы источали нежность и счастье. Оковалков, не понимая слов песни, знал, что она о красоте, благе, о матери и отце. Эти два солдата в выгоревшей форме среди убогой саманной столовой перенесли на Родину, два нарядных красавца среди любящей многолюдной родни.

Петерс слушал, не выпуская торт, серьезный, сдержанно-благодарный. Оковалков чувствовал, как невидимый луч соединяет этот скудный военный быт, казарму, ружейную комнату с далеким оставленным миром. У каждого солдата был покинутый дом, из которого его увели, оставили пустоту. И их близкие берегли эту пустоту, молились на нее, ждали, когда она снова заполнится.

Грузины кончили песню. Обняли именинника, хлопали его по плечам.

– Я сегодня вам гол пропустил, – сказал Петерс. – В другой раз – никогда!

Оковалков опять, как недавно на поле, испытал к солдатам острую нежность, любовь. Все они еще пребывали в легком прозрачном сиянии, отделявшем их от черного жестокого космоса, пронизанного траекториями выстрелов.

– Становись! – раздавалось повзводно.

Группа «732» завершила обед. До выхода оставался час.

Оковалкову хотелось полежать перед выходом, побыть одному, чтобы снова продумать маршрут, проторить его мысленно по горным откосам, продумать место засады между двумя кишлаками, предусмотреть неожиданности: отход, отступление, круговую оборону, встречную засаду противника, ночной бой на марше с прорывом обратно к бетонке, где станут поджидать бэтээры, прикроют отступление огнем.

Он вернулся в модуль, вытянулся на койке, полуголый, босой. Трофейная тужурка «Аляска» висела на спинке стула. Поджидали у порога кроссовки с торчащими шерстяными носками, впитывающими пот. Снаряженный рюкзак круглился у изголовья, на него был брошен брезентовый «лифчик» с автоматными магазинами и гранатами. Тут же, прислоненный к стене, стоял автомат, лежал планшет с картой, блестел дальнобойный с хромированной рукояткой фонарь.

Мать с фотографии смотрела печально и нежно, чуть размытая, словно дрогнула рука снимающего. И так же размыто, не в фокусе, был весь прежний любимый мир. Лодка на зеленой воде, отражение домов и деревьев, золотистый ночной огонь, похожий на веретено.

Кто он таков, майор Оковалков, вытянувшийся большим жилистым телом на железной кровати, дважды раненный, с обожженной рукой, перенесший азиатскую болезнь кишечника, убивавший, проделавший длинный загадочный путь от белых гусей на реке, от материнского родного лица в эту душную, жгучую землю, где железная с грубошерстным одеялом кровать, автомат в изголовье? Кто он, майор Оковалков?

Его жизнь казалась ему обусловленной чьим-то непрерываемым замыслом, распределившим среди людей их земные поступки и судьбы. Одному этот замысел вменял всю жизнь пахать землю, другому – изобретать машины, третьему – петь и писать. А ему вменялась война. Его выучили на военного, помотали по гарнизонам, толкнули через границу в горы чужой страны, заставили стрелять, убивать, сеять горе, самому страдать, умирать. Этот опыт войны важен не сам по себе, не ему, не генералам, политикам, а кому-то загадочному, высшему, следящему за ним с высоты. Когда он проживет свою жизнь, исчерпает до конца свою долю, этот опыт войны и страданий будет извлечен из него, как кассета, пополнит чье-то высшее знание. И он нес в себе это чувство, воевал и других заставлял воевать.

В тонкую дощатую дверь постучали. На пороге возник прапорщик соседней роты Крещеных, крупный, с тяжелыми, обвисшими книзу плечами, опущенными к коленям волосатыми лапищами. Он был похож на медведя покатым лбом, маленькими тревожными глазками, вялой непроявленной силой, которая могла вмиг превратиться в бурлящую мощь мускулов, в скорость, ловкость и злость.

– Разрешите, товарищ майор?

– Входи. – Оковалков не оторвался от постели, недовольный появлением прапорщика, помешавшего течению его медленных мыслей. – Чего хотел?

– Возьмите меня с собой, товарищ майор!

– Тебе-то зачем? Отдохни.

– Возьмите!

Его маленькие бегающие глазки тревожно просили. Во всем его сутулом, косо стоящем теле была мольба.

Крещеных был славен своей угрюмой неутомимой энергией, с которой воевал, ловкостью и жестоким умом, с которыми выслеживал из засад пробиравшиеся караваны, минировал душманские тропы, выколачивал из пленных показания. Он не мог надолго оставаться в гарнизоне, тосковал, зверел, пил водку. Преображался, когда группы, навьючив поклажу, шли к вертолетам, веселел, наливался темным жарким румянцем.

Однажды в ночной засаде он выследил и перебил двадцать идущих тропой стрелков. Утром, осматривая трупы, обнаружили, что все они были правительственными солдатами, идущими на особое задание. Прапорщика судил трибунал, осудил за зверство. Он был отправлен в Союз и попал за решетку в лагерь. Лишь случайно, задним числом, исследуя документы перебитого отряда, бригадная разведка отыскала шифрограмму, из которой следовало – душманский отряд, переодетый в правительственную форму, отправлялся на особое задание и напоролся на пулемет Крещеных. Прапорщик был освобожден из лагеря, по собственному настоянию вернулся в Афганистан, в бригаду, довоевывать, восстанавливать доброе имя. Он воевал с еще большей свирепостью, добывал себе орден, ненавидел эти горы, кишлаки и барханы, умно и ловко ставил среди них свой пулемет. В последний месяц, когда во избежание потерь начались проволочки, прекратились засадные действия, он тосковал и пил. Теперь его мясистое лицо со щетиной усов было в лиловых бражных пятнах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.